

УЛЯ

– О! – прервал молчание Эдик, уткнувшись в свой смартфон. – Вот здесь, например, стоит, что первыми на Хайлигенберг, то есть на Святую гору, пришли кельты... где-то в четвертом веке до нашей эры. И там до сих пор (какие молодцы! знают, чем порадовать гостей города!) сохранились различные могильники и культовые шахты, куда сбрасывали жертвоприношения, в том числе и человеческие...

Леня отвлекся от пронесившихся мимо, весенних ландшафтов:

– Чего?! Какие шахты? Куда мы вообще едем...

– Без паники, дитя мое! Не думаю, что хреновых артистов сбрасывают туда же. Для таких, как мы, там наверняка есть отдельное место.

Пожав плечами, Леня отвернулся обратно к окну.

– А потом, значит, пришли римляне и построили на вершине храм богу Меркурию... потом католики – с храмом святого Михаила... затем бенедиктинцы, пре-мон-стран-ты – просто проходной двор какой-то...

– Заткнитесь уже... – раздался хрип Ильи с задних сидений. Режиссер труппы факультета славистики и по совместительству автор пьесы, в то утро он пребывал в состоянии «похмелеона», похмельного хамелеона, – прикрыв веки, замер в странной позе в углу и при особо резких торможениях микроавтобуса менял цвет.

– Пока в тридцать третьем не началась кампания Геббельса, – невозмутимо продолжал зачитывать Эдик, – по строительству амфитеатров для массовых нацистских празднеств и представлений... Да-да, Ленечка, не смотри так – значит, там определенно есть отдельный колодец и для нас! Так называемые «тингплацы» возводились тогда по всей стране на руинах языческих храмов и прочих сооружений, оставшихся от древних германцев. Но вопреки тому, что сам дедушка Адольф так и не посетил Святую гору, многие утверждают, что энергетика этого места...

– Заткнись! Заткнись, заткнись! – внезапно сорвался на крик Илья. – Эдик, дай поспать, умоляю тебя...

Если бы не ворох костюмов, под которым Уля была погребена, то она подпрыгнула бы на месте, а так – лишь перепугано, насколько это было возможно, оглянулась назад.

– Ты меня прям-таки умоляешь? – уточнил Эдик, умильно склонив голову набок, правда, не отрываясь от статьи.

– Да!

И на время в машине опять воцарилась тишина, изредка прерываемая скучным женским голосом из навигатора.

Так группа студентов добиралась до своих первых гастролей. Спектакль, уже два раза показанный в стенах родного университета в Бохуме, носил сложное латинское название и был заявлен как полусказочная притча, будучи, на самом деле, откровенной постмодернистской вакханалией с туманным посланием и актуальными отсылками: хотя несколько героев и бегали в военной униформе образца Второй Мировой, в их претенциозных диалогах среди прочего упоминались исламистский терроризм, покемоны и недавнее самоубийство голливудской звезды. Сам же сюжет в основном крутился вокруг изнасилования ведьмы (которую, собственно говоря, и играла Уля), в связи с чем на сайте факультета предположили, что пьеса феминистская и поднимает вопросы прав женщин в обществе (опровержения не последовало). Даже актерский состав слабо

понимал, что играл, поскольку вечно погруженный в себя Илья предпочитал ничего толком не объяснять, ссылаясь на теории, подчерпнутые им на лекциях по театроведению. Тем не менее, некоторые визуальные решения были довольно своеобразными и в полумраке зрительного зала вызвали озадаченный шепот, а Уля, например, очень любила момент, где в течение минут пяти, полностью предоставленная самой себе, слонялась в одиночку по сцене, заламывая руки и вызывая к темным силам.

Уля была щуплой, чем-то похожей на ящерку девушкой с простодушным взглядом больших серых глаз; зимой носила смешные вязаные шапочки, летом – смешные сарафаны. В свои восемнадцать она при отсутствии выразительного макияжа выглядела на пятнадцать, что придавало происходящему на сцене дополнительный привкус провокации и что, в сущности, и послужило причиной включения ее в труппу (сама же она искренне считала, что приглянулась Илье своей взволнованной, с придыханием, декламацией Бродского). Как и многие другие студенты родом из Восточной Европы, Уля выбрала славистику в качестве довеска к более перспективному предмету, название которого обычно переводится как «наука об организации и экономике производства». Однако девушка быстро потеряла свои изначальные цели из виду и львиную долю времени стала проводить именно с бывшими соотечественниками, с восторгом погружившись в дискуссии о значении творчества Пелевина и Достоевского, анализ мемуаров о ГУЛАГе, поддержку хронически умирающей стенгазеты, балканские вечеринки, традиции советских праздников в компании любознательных немецких сокурсниц и, наконец, в репетиции самодеятельного театра. В связи с ее трогательной застенчивостью для многих оставалось загадкой, откуда бралась энергия на все эти увлечения. Но благоговейный трепет перед храмом Мельпомены Уля унаследовала, по сути, от мамы, которая на премьеру всё же приглашена не была – причем отнюдь не из-за самого запоминающегося эпизода («интим» в постановке был крайне условным и, учитывая нынешние тенденции, вполне целомудренным – отчасти благодаря мешковатому костюму носорога). Нет, она скорее переживала, что родительница посчитает роль ведьмы карикатурой на бабушку, так как последняя, оставшись в Челябинске, упрямо подрабатывала заговорами на любовь и особо популярным зашептыванием заповей.

За рулем зевал Руслан, эта почти полностью татуированная туша была, наверно, самым флегматичным членом коллектива – его позвали отвечать за звук ввиду того, что на досуге он играл на ударных в сербской постхардкор-группе; на репетициях спектакля его подкармливали пельменями и поили пивом, так что он был всем доволен. Его сестра Жанна, не менее пышнотелая и не менее татуированная девица с суровым характером, согласилась взять на себя управление светом и проектором (договорившись, что ей четко покажут, какие кнопки и когда нажимать!); по пути она мирно забылась сном вместе с Севой и Маратом, прикорнувшими с двух сторон у нее на мощных плечах. Те были самыми юными актерами труппы, парочкой попугайчиков-неразлучников из местной команды КВН, а потому по привычке неумоимо искали пошлое-смешное в повседневном и сочиняли абсурдные миниатюры про гинекологов и остроты вроде «похмелеона» для скорого полуфинала. Угреватый, неуклюжий как на сцене, так и в жизни (даже сейчас он одет был в застиранную футболку наизнанку), Леня был слишком доверчив для будущего психолога; на прослушивание он пришел исключительно в качестве эксперимента, с уверенностью, что сможет воспользоваться данным опытом для диплома, – да так и

остался, отказываясь признаваться самому себе в причинах. Тогда как Эдик, остроносый питерский красавчик, потерпевший неудачу с поступлением на актерский в Эссене (по собственному утверждению, из-за скверного знания языка), неизменно в черном аки датский принц, со снисходительным удовольствием дал уговорить себя на участие в проекте. Но влюблена Уля была, несомненно, в Илью: на репетициях он преображался и, бегая по аудитории с горящими глазами, иногда умудрялся вдохновлять своими сбивчивыми речами и неожиданными сравнениями – и она чувствовала, как страдает режиссер оттого, что не всё может выразить словами. Ее сердце начинало биться быстрее уже от самого созвучия их имен – Илья и Уля, Уля и Илья – и она, пожалуй, единственная верила в то, что когда-нибудь его ждет головокружительная карьера на Бродвее или, на худой конец, в Берлине.

– Через триста метров поверните направо...

Время перевалило за полдень, когда машина наконец оказалась на узких улочках старой части Гейдельберга; монотонный гул автобана остался далеко позади – и от грохота о брусчатку до сих пор дремавшие пассажиры стали один за другим, нежно постанывая, пробуждаться. Так, проездом, германские поселения подобного толка кажутся пресытившемуся чужеземцу до тошноты похожими друг на друга, созданными из одного незатейливого набора: карминная чешуя крыш щедро рассыпана между малахитовых холмов, над ними возвышается шпиль главного собора, вытягивающийся в надежде рассмотреть мутную речку за домами; тот же фонтан на площади, те же магазины, те же вывески питейных заведений, блещущие своим, только аборигенам понятным остроумием; где-нибудь на склоне обязательно расположился замок или иная достопримечательность из прежних эпох – и приветливые, хотя и не очень гостеприимные бургеры выглядят слишком знакомо, словно у Создателя закончилась массовка, и Он, торопливо собирая народец в пригоршни, каждый раз переносит его на новое место назначения. Разница заметна разве что во вкусе пива, отличающегося от региона к региону, и мельком ухваченных случайностях: здесь черная кошка молнией метнулась за прислоненный к стене, овальный портрет, там впопыхах передевающаяся барышня не успела закрыть деревянные ставни, тут с прилавка, прямо под колеса, янтарным каскадом забарабанили незрелые фрукты, а вот из-за угла на четвереньках появился не то пьяный, не то умалишенный – с перекошенной рожой и цилиндром на голове. Невзирая на тусклую погоду и провисшее, прокисшее небо, Уля по-детски азартно вбирала в себя всё, что успевала распознать по дороге.

Между тем Эдик, задумчиво наблюдая за КВНщиками, утирающими со своих подбородков засохшие потеки, проронил:

– Шутку я для вас придумал; может, вставьте куда... Звучит так: «Господа, бойтесь иммигрантов – у них после ностальгии всегда идет жертвоприношение».

Сева с Маратом инстинктивно, спросонья хихикнули и сразу же признались, что ничего не поняли.

– А, это аллюзия на Тарковского, да? – встрял Леня. – Можно, наверно, смешно обыграть, ага.

Он изготовился, было, объяснить суть афоризма, но тут Руслан громко объявил: «Приехали!» – и голос из навигатора поспешил с ним согласиться.

Навстречу им через двор уже бежала Санита, жизнерадостная активистка местного филиала славистики, которая наткнулась в интернете на описание спектакля, связалась с

Ильей и организовала выступление – в целом, чтобы в очередной раз предъявить руководству пример интеграции иностранцев, бессмысленной и беспощадной. Видя, как жарко обнимает режиссера белокурая латышка, Уля загрустила и, теребя бабушкин оберег на шее, стала со вниманием рассматривать кирпичную кладку многовековых университетских стен.

– У меня есть хорошая и плохая новости, – задыхаясь от переизбытка эмоций, сообщила Санита с легким акцентом. – Ну, во-первых, все билеты проданы.

– Все? – удивился Илья.

– Да, все. Невероятный спрос!

Лицо режиссера расплылось в самодовольной улыбке, а труппа воодушевленно переглянулась: премьера прошла при удручающе полупустом зале, в связи с чем часть зрительских мест были на второй вечер решительно убраны. Так неужели после всех репетиций и препирательств их всё-таки ждал заслуженный аншлаг, хоть бы какое-то признание, какой-то заработок?!

– Надеюсь, это плохая новость? – осведомился Эдик.

– Нет, эта – хорошая. А плохая: кондиционер сдох. Напрочь.

Впрочем, то была не единственная плохая новость: когда гастролеры, весело гомоня, проследовали внутрь, то тотчас же застыли, недоуменно озираясь. После сверхсовременного, казавшегося теперь огромным, студенческого театра в Бохуме – им предстояло играть в глухом подвале с несколькими десятками стульев перед крохотной сценой и вздувшимися жилами труб под низким арочным сводом. Вдобавок к ветхой мебели и совсем не модно-винтажню обшарпанным стенам, здесь действительно было душно и сильно пахло хлоркой (по-видимому, помещение только-только отмыли от предыдущего перформанса). Даже Жанна, которая целиком спектакль еще не видела, оценила размах новой для нее жизни в искусстве и повторила за братом сказанное пять минут назад «Приехали...», правда, уже с другой интонацией.

– Ух ты! – чересчур звонко воскликнул Эдик. – Так ты говоришь: все билеты проданы? Пряма-таки все-все? Все пятьдесят?

– Да нет же, здесь тридцать семь посадочных мест, – заволновалась Санита. – А что? Что-то не так?

– Всё супер, тридцать семь – мое любимое число, – заверил Эдик, ослабившись. – У меня столько гостей на дне рождения было.

– Правда? – обрадовалась латышка, не заметив сарказма. – А когда он у Вас? Вы разве не Близнец? Я где-то читала, что все лучшие актеры – Близнецы...

Эдик не ответил, сверля взглядом спину Илье, который явно опасался обернуться.

– Мы, наверно, просто очень хорошо подгадали с темой и датой! – тараторила дальше Санита. – Спектакль про ведьму – это потрясающе, это ведь Вы будете играть, да?

Жанна покачала головой и кивнула на оробевшую Улю.

– А, я так и подумала. Ну, тут же еще Вальпургиева ночь, прям сегодня, поэтому после выступления все в обязательном порядке на Хайлигенберг, ну, вы же потом с нами, на шабаш, верно? Там будет очень красиво – и вообще нереально круто...

– Так, – сказал Илья. – Так...

– Так, мальчики! – не стерпев общей растерянности, Жанна взяла инициативу в свои руки. – Поднимаем челюсти с пола и живо тащим вещи из машины, времени мало.

Группа понуро направилась обратно к выходу, режиссер же не шелохнулся, изо всех сил сдерживая клокотавший внутри крик стыда и отчаяния: когда пару недель назад поступило предложение показать постановку в старейшем и престижнейшем университете страны, ему и в голову не пришло поинтересоваться техническими подробностями.

– И плакаты получились очень занятные! – добавила Санита. – Мы распечатали, по городу расклеили... такая у вас там, ну, провокационная задумка...

Прижав к груди ноутбук, Илья тихо спросил:

– Хотя бы проектор есть? Где я могу к нему подключиться?..

Однако последовавшие хлопоты, долгая борьба с техникой, а также суетливая репетиция отдельных сцен, как, например, на ходу сокращенной версии вальса в противогазах, заставили забыть и о духоте, и размерах помещения, и неутешительных подсчетах возможной прибыли. В конце концов, зритель, эта аморфная, охочая до зрелищ масса, он всё же потратился на билеты, он заполнит собою пространство за невидимой четвертой стеной, он затаится и будет ждать, а, значит, это их долг – и так далее, и тому подобное. Так что когда вечером, незадолго до представления, Уля, порхая от одного к другому, гримировала актеров – в полумраке закулисной каморки, среди прелого хлама и плакатов, оставшихся от былых премьер, царило возбужденное оживление:

– Уля, Уля, глянь наш номер, а? Называется «Свидание шизофреника»...

– Отстаньте от Ули – видите, какая бледная, а ей ведь дольше всех на сцене быть! Еще в обморок хлопнется.

– Уля, выпей воды! Пей побольше, это полезно.

– Но номер мы покажем, ладно? Ты просто пей и смотри!

– И скажи, если будет смешно.

Со стороны зала послышался постепенно нараставший гул из нечленораздельных разговоров, покашливаний, шарканья и бряцания стульями. Леня заерзал и в который раз взялся шелестеть замусоленными страницами пьесы. Забежала Санита, ободряюще улыбнулась гастролерам, притворилась, что что-то проверила в шкафу, – и вприпрыжку убежала обратно. После нее явился Илья, из-за всей суматохи он так и не смог заставить себя съесть ни один из заготовленных бутербродов, поэтому колыхался, ссутулившись под низким потолком, и с потерянным видом утирал влажный лоб:

– Так, ну, мы... в общем, готовы, да? Реквизиты, вроде, проверили?

Эдик развернулся на табурете и, держа на отвесе губку с тональным кремом, стал зловеще декламировать:

– Подите прочь! Какое дело поэту мирному до вас?! В разврате каменейте смело, не оживит вас лиры глас...

Илья с подозрением понюхал сперва самого Эдика, а затем и его бутылку с минералкой.

– Душе противны вы, как гробы, – скривился тот. – Для вашей глупости и злобы...

– Так, вы двое, еще раз предупреждаю: если кто-нибудь в публике узнает вас и опять начнет выкрикивать: «Ка! Ве! Эн!», эту ужасную аббревиатуру, то это позор, позор, преступление против театра – и на поклон я тогда не выйду! Лучше думайте о подаче, энергетике, психофизике, вот это вот всё. И, Леня, говори, пожалуйста, четче, а то у тебя вместо «триумфа добра» «триумф бобра» какой-то.

Марат захихикал и поспешил сохранить шутку в смартфоне: «Триумф бобра! Название для чего?» Тем временем Илья поднял свои сжатые кулаки и неуверенно помахал ими в воздухе:

– Нацелились на позитив! Помним, что мы счастливы, мы все счастливы, счастливы быть здесь. Мы должны быть счастливы... Иначе – что? – и, не желая дожидаться ответа, пояснил сам: – Иначе нет в этом смысла. Короче, ни пуха, ни пера.

И пока остальные радостно чертыхались, Эдик вновь обратился к своему отражению в зеркале и с наигранной грустью вздохнул:

– Мы рождены для вдохновенья... для звуков сладких – и молитв...

Спектакль пошел наперекосяк с самого начала.

Уже во вступлении, где Сева с Маратом, пританцовывая под ирландские напевы, заворачивали друг друга в фольгу и в диалогах именовали себя Розенкранцом и Гильденштерном (всерьез полагая, что это такие еврейские фамилии), уже тогда обычно беспечный тандем почувствовал себя весьма неудобно, словно на прилавке инфернального зоомагазина, – в окончательно раскаленном софитами мареве, под бдительным надзором посторонних людей, которые не скрылись, как водится, где-то там, в глубине тени, а сидели непосредственно перед самой сценой, слишком близко, на расстоянии жаркого дыхания, так что были отчетливо видны все морщинки, все малейшие эмоции на их блестящих, сахарно-белых лицах с жадными ртами и сонными глазами; к тому же при таком неудачном освещении и вовсе становилось непонятно, кому за кем было удобнее наблюдать.

Дождавшись сигнальной фразы о «знаках небес и смутных временах», Жанна, восседавшая вместе с Русланом за стойкой в конце зала, запустила с ноутбука видеозапись, снятую с дюжиной хорошеньких студенток, – и на полотне на заднем плане замелькали женские фигуры, судя по униформе и воздушным поцелуям наотмашь, отправляющиеся на вскользь упомянутую войну. Вслед за тем Жанна со спокойной душой переключилась на управление светом по разноцветным отметкам в тексте пьесы (красный, желтый, красный, красный, желтый, синий и опять красный), – как ей рассказали, видеоклип, напичканный беззвучными примечаниями и загадочными визуальными метафорами, соответствовал длине спектакля и должен был идти без остановки до конца.

– Токмо вот одно, во что мы верим, – вещали хором Сева с Маратом, кружась между пирамидами из ящичков, – нашему доброму и чудному государю предстоит величайшая роль в мире, и он так добродетелен и хорош, что...

Тут двое в первом ряду, он и она, обменявшись выразительными взглядами и кивнув, энергично встали и, пригибаясь, точно под пулями, покинули помещение. Ребята на сцене запнулись и, смутившись, долго не могли вспомнить дальнейшие реплики:

– ... что... что... исполнит свое предназначение и задавит гидру революции... в ли... в лице этой ужасной ведьмы...

Когда они, совершенно мокрые, шурша фольгой, вернулись за кулисы, на них накинута режиссер:

– Да что с вами такое?! Что за...

– Тридцать пять! – страшно прошептал Сева.

– В смысле? – не понял Илья.

– Тридцать пять, – обреченно подтвердил Марат и, мучимый жаждой, схватился за бутылку с водой.

В тот роковой вечер всё было как-то не так: в заполнившем подвал густом, тягучем жару, в котором двигаться хоть чуточку живее представлялось невыносимым, всякое слово, всякий жест давались с невероятным трудом, и сердце, ухая в самый неподходящий момент, грозило остановиться и растаять в груди. Под ручьями пота грим расплывался, обжигая лицо, норовя попасть в глаза, собираясь унизительной каплей на кончике носа, и кое-кто уже походил на злодея из супергеройского комикса: наклеенные стразы, которыми Уля так гордилась, сползли со лба на щеки, а картонная корона Эдика, отсырев насквозь, к середине выступления пришла в полную негодность – и была в одну из передышек оставлена в гримерке в качестве очередного трофея заведения. Актеры по возможности избегали объятий и, в принципе, любых прикосновений, что, в связи с непривычно малым, толком не освоенным пространством, приняло вид шахматной забавы с расчетом ходов – своих и противника; но, как ни крутились, стыдливо толпясь на подмостках, переступая с ноги на ногу на свободных прогалинах, они не всегда верно угадывали встречный шаг, потому сталкивались и немедленно, почти брезгливо, отступали, боясь прилипнуть навсегда.

О вразумительной игре речи быть не могло – текст ускользал от памяти, и собственный голос в особой акустике театрального склепа казался чужим и приглушенным, звучащим в записи, отчего говорили еще громче, стараясь докричаться. И вот что удивительно: сидевшие в зале – в основном плохенько одетые мужчины – выглядели отнюдь не возмущенно или утомленно, а скорее слегка настороженно, с хмурым беспокойством, под шелест журнальных вееров, следя за молодыми непрофессионалами, точно посетили подобное мероприятие впервые и не были до конца уверены, насколько это безопасно для здоровья, ввиду чего над шутками не смеялись и после политических отсылок не шушукались, даже случайным вздохом не выказывая сопереживание.

– Тяжелый зал, – улучив минутку, деловито истолковал Ленья.

– Тундра! – фыркнул Илья.

Настоящая же катастрофа разразилась во второй половине спектакля, когда Эдик (чей царь вопреки сюжету становился всё более раздраженным) в ходе диалога с Ленией в роли звездочета отметил странное оживление в публике. Зрители стали шумно дышать и покачиваться из стороны в сторону, заморгали, думалось, с пониманием и одобрением, и Эдику потребовалось усилие, чтобы преодолеть иллюзию того, что его исполнение наконец тронуло присутствовавших и заставило отвлечься от голоштанного минимализма. Но нет, люди смотрели куда-то сквозь них, мимо них, так что оба исполнителя невольно повернулись к экрану – и в их глазах сразу зарябило от мельтешащего полчища гениталий и прочих частей обнаженных мужских и женских тел.

Именно так: вместо запланированных репортажных кадров со стихийными бедствиями – экран захватила жесткая порнография. Причем видеозаписи хаотично множились, открывались подряд, некоторые на весь экран, некоторые только на его часть, закрывая собой предыдущие, и в каждой из них сплетались-извивались почти синхронно, в беззвучной истоме, лоснящиеся организмы – белые, черные, желтые, сверху, снизу, по бокам – демонстрируя чудеса акробатики.

Медленно, словно через боль, Эдик перевел взор на брата с сестрой, бесстрастным, двуликим Буддой нависавших над стойкой с техникой; как и посетителям, им и в голову не пришло, что бурлящий поток непристойностей никакого отношения к спектаклю не

имел (и являлся, в действительности, результатом вирусной атаки на ноутбук), – Жанна приподняла одну бровь, а Руслан уважительно выпятил нижнюю губу, тем самым выразив свою максимально возможную реакцию на «новое режиссерское решение». Леня уже готов был остановить представление и подать знак, прокричать, прекратить, начать заново, но Эдик машинально, неживыми губами, инородным языком, произнес свою реплику, а там пришлось ответить, за ответом продефилировать к ящикам, взмахнуть рукой и для пущей убедительности, как требовал Илья, перенести вес на правую ногу. И пока за их спинами совокуплялись во всех мыслимых позах, актеры с грехом пополам договорили угловатые, претендующие на афористичность тирады и ринулись, проглатывая окончания на ходу, обратно за кулисы – при этом чуть не сбив с ног Севу с Маратом, как раз выводивших Улю на сцену.

– Всё в порядке? – спросил Илья.

Эдик зыркнул на него. Переведя дыхание, он внезапно сухо отрезал: «Разумеется!» – и упал в жалобно охнувшее кресло. Леня поколебался и, сбитый с толку (шутка? это такая шутка, да? мы его разыгрываем?), последовал в итоге его примеру и осторожно присел на связку старых газет (а, может, и вправду, оно само собой... рассосется...). Между тем успокоенный режиссер продолжил с открытым ртом прислушиваться к доносившимся из зала словам, которые так легко писались прошлой зимой после очередных сложных отношений:

– Смейся, ведьма, смейся громче! Пускай и пал наш город, токмо ведь и твоей разрушительной любви скоро придет конец...

В окружении чучела лисицы и пожелтевшего глобуса Эдик отчужденно взирал на череп в розовом парике, прямо в его пустые глазницы, и, втянув голову в плечи, тихо мрачнел, набухая какой-то ядовитой смесью гнева и безразличия, и в каморке сделалось вроде бы еще душней, еще темней, пол с потолком сдвинулись бдительным прищуром, что, впрочем, осталось для Ильи как всегда незамеченным, а вот Леня поежился. Так, молча, и сидели они на протяжении бесконечных минут, три сутулые фигуры, чье напряжение, у каждого свое, скрывал сумрак, – пока Сева с Маратом не вернулись, взбудораженные:

– А почему... почему нас не предупредили?!

– О чем? Что там опять? – застонал Илья.

– Ну как...

Сева стал искать подходящую формулировку, беспомощно показывая назад в сторону зала.

– Порнуха там! – выпалил Марат. – Бабы голые! На экране! Это что, такая новая концепция, да?!

– Какая порнуха?! – обалдел режиссер.

– Самая настоящая, – точно очнулся Эдик. Он лениво потянулся и, сдунув пылинку с лацкана своего плаща, добавил: – Орал, анал и всё такое.

Взвизгнув и неестественно вскинув руками, Илья (как был – в костюме палача, разве что без маски) стремглав вынесся из примерки в коридор.

– А знаете, дорогие коллеги, – глядя ему вслед, сказал Эдик, – а не пошли бы вы все на хер?

Он спокойно извлек из-за кресла бутылку коньяка и, откупорив ее, сделал два затяжных глотка.

– Слушай, может, не надо, а?

– Ленечка, фамилия у тебя, конечно, Учитель, но это вовсе не означает, что ты меня сейчас чему-то должен учить! Спектакль в жопе. Причем буквально. И мы тоже. Там же.

Бесшумно, с нехорошей гримасой, поднявшись, Леня подошел к Эдику, протянул руку и, без особого сопротивления отобрал бутылку, тоже отхлебнул – и поперхнулся, чем крайне развеселил последнего:

– О! Громче, трубы! Выше стропила...

– Извини, сейчас твой выход, – опасливо заметил Марат, – а тебе еще...

– Да-да-да! – Эдик по привычке засуетился, скидывая с себя влажную и липкую одежду и натягивая узкие черные штаны и гольф, которые на его теле незамедлительно пошли темными пятнами, после чего подхватил грузный, цельный костюм носорога, уже нырнул в него головой, вдруг застыл – и с омерзением сбросил его на пол.

– Да пошло оно... Я в нем сдохну! – снова приложился к бутылке, в этот раз надолго, и, оставив ее перед самым выходом, пробормотал: – Всё равно без понятия, нафига этот носорог...

Остановить его никто не осмелился. Пошатнувшись, Эдик шагнул в расплывчатое, полыхавшее алым пекло, оглашая пространство словами:

– Здесь, в юдоли скорби людской, мы повстречались в первый раз, когда нам было по пять лет...

Он, как в преследовавшем его, ночном кошмаре, больше не помнил, кого играл, и лишь повторял телодвижения за самим собой, тем, кто в прошлые разы силился вложить хоть какие-нибудь чувства в пафосный монолог. Теперь же он заставлял себя имитировать волнение перед свиданием с ведьмой – и с натугой, сквозь опустившийся на него, обычно благодатный хмельной туман, рассмотрел Улю: та, судорожно помахивая букетиком искусственных цветов, перемещалась в своем белом платье перед зрителями бочком, чтобы ни в коем случае не оказаться в прицеле луча проектора, не обернуться к экрану, где пухлая рука со стахановским усердием как раз шлепала по гигантским колыхавшимся ягодицам.

– Во вторую же нашу встречу нам было ровно десять... – глухо уведомил Эдик.

Только когда Уля в оцепенении уставилась на него, только когда он сперва ощутил через весь зал, а после и в самом деле натолкнулся на свирепый взгляд Ильи, который, шипя извинения и прижимаясь к стене, как раз добрался до стойки с управлением, – только тогда Эдик осознал, какой именно эпизод ему предстоит играть и каким подспорьем было нелепое носорожье облачение, создававшее уютную дистанцию к собственным действиям.

– Засим пятнадцать...

Режиссер рванул к ноутбуку, зрители же заулыбались, видя, как он, в надежде исправить, перепрограммировать карму, стал с туповатой остервенелостью барабанить по клавиатуре, – благодаря багровому балахону его поведение воспринималось гармоничным элементом представления. Единственно Жанна с Русланом в смятении переглянулись и уже не сомневались, что что-то пошло не так. Однако захвативший систему вирус игнорировал все попытки вмешательства, а потому транслировал разврат дальше; заслонить же объектив мешал тот факт, что проектор располагался под самым потолком.

– Двадцать... – криво усмехнулся Эдик.

Уля сжалась в комочек – ее партнер на ходу терял всю свою элегантную небрежность и, судя по всему, связь с реальностью. Не совпадая, не поспевая за собственной тенью, Эдик нарочито громко, по-солдатски, прошагал к краю сцены, чтобы занавесом вытереть испарину, и окончательно размазал грим; волосы слиплись некрасивыми змеями; на щеках проступили болезненные кляксы. Оглянувшись на экран, он, было, сконцентрировался на хитросплетениях бьющихся в конвульсиях порноактеров, прищурился, будто желая понять, разгадать некую загадку, но тотчас сплюнул презрительным комментарием: «Тридцать!» – и погода добавил:

– Тридцать пять... всего... детский утренник какой-то... Тридцать шесть и шесть... Ах, пофиг, пляшем! Вы же вовсе не меня...

Он вяло помахал рукой перед собой, не то чтобы привлечь внимание, не то чтобы развеять видения, но тут его качнуло, и он, в предвкушении подступающей дурноты, срочно прислонился к стене. Забывшись, Эдик что-то невнятно пробубнил под нос, что-то про наивность и обман (опять не по тексту), резко тряхнул головой и выпрямился:

– Да будет так! Мы же ждали этого, ждали, что! Что... с годами наша малая разница в возрасте разрастется, раскинется и пассионарным взрывом разбросит нас по разные берега Леты... Этого не случилось.

Распаленный духотой, алкоголем и иными обстоятельствами, Эдик впал в помешательство и, неожиданно для самого себя, начал испытывать сильное возбуждение – что, благодаря обтягивающим штанам, стало очевидно всем присутствовавшим.

– Ты желала любви и добилась своего. Что ж, вот он я! Здесь! Пред тобою...

Бросив фразы фактически по направлению к остолбеневшему Илье, Эдик отвернулся, выпучил на Улю налитые кровью глаза и прохрипел:

– К несчастью для тебя.

В одну секунду Уле сделалось до такой степени жутко, что она попятилась назад; с сухим звуком упал на пол букетик. Эдик же, обуреваемый страстями, запрокинул голову, завыл и, как одержимый, пустился вокруг девушки в пляс – потом обрушился на нее и, крутанув перед собой, подмял, повалил прямо на подмостки, животом вниз.

До того момента Уля никогда еще не испытывала подобных смешанных чувств из ужаса, стыда и отвращения. Сами действия в сцене, изначально скорее сомнительной, чем страшной, остались, по идее, прежними – минус костюм и связанный с ним комичный контекст. Но даже не имея достаточного интимного опыта, девушка понимала, что Эдик, лежа на ней всем своим весом, яростно вперившись вперед, рыча и двигаясь всё проворней, одной рукой упершись в пол, а другой вцепившись в ее волосы на затылке, – в этот раз он не просто играл или дурачился как во время наиболее удачных репетиций, нет, при этом происходило нечто безусловно мерзкое. Сперва она попыталась сопротивляться и, ерзя, стряхнуть пьяное тело с себя. И, несколько раз ударив одеревеневшими ладонями по полу, быстро угадала, что ее возня лишь раззадоривала прижимавшегося к ней юношу. Тогда она, задыхаясь от нестерпимой вони пота и коньяка, подняла пунцовое лицо – хоть бы кто пришел на помощь! хоть бы посочувствовал! – и взгляд ее встретился с хищными взглядами любопытных, чуть ли не нависавших физиономий; кое-кто в задних рядах приподнялся, а Санита вытянула руку с маленькой камерой, чтобы лучше запечатлеть экзекуцию. И вдобавок за ними вырисовывался силуэт Ильи – тот давно перестал лупить по клавишам и застыл жалким истуканом, в отчаянии схватившись за голову.

В полуобморочной мути, такой, что стало покалывать в пальцах ног, будто еще немного – и откажут, онемеют, отпадут, Уля предпочла зажмуриться и, вновь опустив голову, уткнуться лбом в сцену, точно в бабушкины колени. Бравурная музыкальная композиция, предназначенная для однозначно затянувшегося фрагмента, закончилась, и в пронзительной тишине, в которой присутствовавшие боялись шелохнуться, были слышны только шорохи от трения костюмов, тяжелое, прерывистое дыхание и скрип старых досок. И стыд, стыд, в первую очередь стыд захлестнул ее всю, словно в этом безобразии виновата была она сама; парализованная от горя, Уля лежала под партнером и напрягала все свои силы, чтобы не потерять сознание, гулким мячиком укатывающимся всякий раз куда-то в черную пустоту.

Спустя вечность Эдик вздрогнул, закашлялся, затем встал, обескураженно взлохматил свои волосы – и, миг обратившись в вялый студень, махнул рукой на текст и исчез, неловко семеня, за портьерой.

Вскоре и Уля стала подниматься, поднималась долго, по частям; как бы ей не хотелось, она не могла лежать так дальше, с закрытыми глазами, на виду у всех. Плохо соображая, она остановилась прямо посреди проекции, так что по ней лихо заскакали сияющие наготой существа. Она по-прежнему отдавала себе отчет в том, что перед ней зрители, что она актриса, а вокруг нее – спектакль; мало того, это была та самая, любимая сцена с монотонными заклинаниями; тем не менее, теперь ее память, коварный суфлер, противилась подсказать первую строчку. Девушка отрешенно смотрела в никуда, время шло, публика ждала, официантки и секретарши трепетали в объятиях пожарных и сантехников, и так могло тянуться часами, поскольку Илья сдался и спрятался от реальности, – до тех пор, пока Жанна решительно выдернула, чуть ли не с мясом, кабель из ноутбука. И тогда ударил, залив экран, удушающе синий цвет, побежала из стороны в сторону строка «No source found», и, уворачиваясь от надписи, Уля поморщилась. У нее покраснел нос, брызнули слезы, она тонко, горестно заплакала. И ушла за кулисы.

Всё еще с кабелем в руке, Жанна заглянула под стол с аппаратурой.

– Желтый включать? – пробасила она вполголоса. – А то ж они свой текст не говорят...

Последний акт отыгрывался бегло, механически, как бы вкратце пересказывая содержание, – больше никто не старался и не притворялся. Сложно утверждать, что это каким-то образом отразилось на результате; точно так же сложно предположить, чем бы закончилось выступление, если бы остальные участники узнали об инциденте. Но они не знали и не догадывались, только и видели что промчавшегося мимо Эдика, который через некоторое время вернулся, зачем-то переодев штаны, да заплаканную Улю, которая упорно отказывалась что-либо объяснять. Поэтому играли дальше, списав настроение обоих на общий упадок духа и отложив расспросы на потом; вместе с тем были вынуждены принять как данность отсутствие иллюстраций на экране и заученным жестом показывали на синий прямоугольник, а иногда безмолвно толпились перед ним как загипнотизированные игрушки, заложники одной старой телезаставки, – будто в этой уже абсурдной церемонии таился сакральный смысл. К счастью, у Ули слов не осталось, что соответствовало ее состоянию, и оттого она лишь проплывала, взмахивая широкими рукавами, на заднем фоне потускневшим и слегка заторможенным призраком мщеница – в ожидании финального аккорда, который в конечном счете был созвучен прочему хаосу.

Сожжение ведьмы и последующее народное восстание (демонстрации которых зритель был по техническим причинам лишен) должны были завершиться казнью, приведенной в исполнение с помощью хитроумного кинжала: деревянному, крашеному серебром лезвию обычно было достаточно легкого нажима, чтобы уйти в рукоятку, из которого незамедлительно поступала искусственная кровь. Царь, удерживаемый предателями с двух боков, севшим голосом, скороговоркой, как раз обещал неминуемые, катастрофические последствия любви, когда Леня заметался по гримерке, спохватившись, что совершить убийство, собственно говоря, некому, палача нет, палач до сих пор скрывался под стойкой с аппаратурой и спасти свою постановку явно не собирался. Собранный с духом, звездочет, давно объявленный покойным, вышел на сцену сам – в своей мантии (которую Уля так вдохновенно расшивала звездами), с кинжалом (конструкция отца Ильи) и в маске палача (подарок матери Ильи после посещения Венеции). При его появлении кто-то, Розенкранц или Гильденштерн, сдавленно всхлипнул, но по-настоящему чему-либо в тот вечер уже никто не удивлялся. Впрочем, чтобы усилить ощущение полного краха, кинжал отказался работать – тщетно тыкал им Леня приятелю в спину, один раз, другой, третий, постепенно ускоряя ритм и всё же делая что-то, видимо, неправильно. И тогда, устало отпихнув конвоиров, Эдик отобрал у него реквизит, повернулся лицом к публике и с размаху ударил в живот себя сам, сломав поделку раз и навсегда, – вишневая жижа сразу же брызнула в разные стороны, заляпав практически всю рубашку. Скривившись, царь развел руками и с грохотом рухнул на подмостки.

Никто из выживших персонажей, естественно, не помнил пространный монолог палача, так что после непредвиденного акта монаршего суицида они в замешательстве удалились за кулисы, и как только помещение вновь погрузилось во тьму, Эдик, крихтя, присоединился к ним. Вот и всё, всё было позади, закончилась попытка – так думали они. Когда же умолкла заключительная музыкальная тема, вся труппа замерла, затаив дыхание и готовясь выйти на поклон. Между тем аплодисментов не было: ничто не нарушало гнетущую тишину, люди сидели, оцепенев, – и то ли ожидали продолжения, то ли вспоминали, что делают в таких случаях.

– Они нам вообще собираются хлопать?! – озвучил Сева вопрос, мучавший каждого из них. – Ну, тупо из вежливости!

– Может, лучше сбежим? – предложил Марат. – Пока они тупо из вежливости полицию не вызвали...

Всем своим видом изображая крайнюю апатию, Эдик ковырялся пальцем в глазнице пластикового черепа. Леня обвел взглядом соучастников, в особенности Улю, втиснувшуюся между креслом и шкафом; отдавая себе отчет в некой обезглавленности коллектива, он попробовал развеять обстановку сам:

– А помните этот, ну, «От заката до рассвета»? Может, театр этот тоже проклят? Построен на каких-нибудь древних руинах. Прикиньте: они там в вампиров превратятся – а мы...

Он не успел договорить – из зала столь неожиданно грянули овации и восторженные выкрики «браво», что Леня вздрогнул. Нет, нет, не могло этого быть – робко и недоверчиво выходили ребята один за другим на хлынувший свет: после всего приключившегося уж слишком смахивали аплодисменты на издевку! Однако в едином порыве подскочившие зрители казались искренними, и, учитывая размеры театра, успех

чудился оглушительным (пускай и обошлось без букетиков вроде тех дешевых, от родственников на премьере). Рукоплескали вдобавок так рьяно и упрямо, что труппа раз за разом, всё с большим воодушевлением, всё с большим блеском в глазах, выбегала обратно на подмостки, и неведомый магнит – не то пробудившееся чувство ответственности, не то откровенное тщеславие – за шиворот выволок Илью, как безвольную марионетку, из-под стола, перенес через весь зал, швырнул на сцену и заставил поклониться вместе с остальными, едва не ткнув носом в пол.

Немногим позже, сгрудившись за прилавком кассы в предбаннике, артисты растерянными улыбками провожали шепотливых очевидцев выступления, гуськом направлявшихся к выходу. Режиссер, играя желваками, срезал кухонным ножом обертку с горлышка одной из бутылок, вдруг зашипел, точно сдувающийся воздушный шарик, и принялся сосать грязный палец; в любой другой ситуации Уля бросилась бы искать пластырь или, по меньшей мере, платок – сейчас даже не обратила внимания.

Подбежала взъерошенная Санита и затараторила:

– Ой, вы такие молодцы, честно, я, правда, ничего не поняла, но это было очень, очень круто, у меня аж мороз по коже! Так просто и сильно, – и показывая на камеру в своих руках: – Обязательно выставлю в интернет...

Эдик приобнял ее за плечо и, притянув к себе, ясным, холодным голосом произнес прямо в ухо:

– Только попробуй.

Санита тут же съежилась и еле слышно залепетала:

– Ах да, конечно, хорошо, ну, вы пока на ночлег устраивайтесь здесь, вот только я... вопрос... а почему... почему на русском? Меня не предупредили, и я как-то думала, что...

– Что?!

Активистка поспешно ретировалась, прошелестев напоследок: «Если что – мы на шабаш...», а Эдик развернулся к замешкавшейся публике и громко рявкнул:

– Здесь кто-нибудь говорит по-русски, а?!

Никто особо не отреагировал, несколько человек сконфуженно попрыгало глаза.

– Да ладно, серьезно?! Господа, водки налью, бесплатно – любому, кто понимает великий и могучий! Ну же?!

Люди стали покидать театр еще проворней, толкаясь и тихо по-немецки ворча; кто-то уже нервно сворачивал самокрутку, рассчитывая закурить сразу за дверями; кто-то, в стремлении протиснуться, споткнулся на пороге и повис на чьих-то безропотных плечах. А один из плетущихся в хвосте ощерился в сторону труппы и на прощание выдал накопленное за годы: «Davaj-davaj, spasibo, na zdorovje!»

– Приехали, – подытожил Руслан.

Ребята хором загомонили, отказываясь поверить: как так? ну, как же так? весь вечер они играли-страдали перед людьми, ни слова не понимавшими?! Тогда почему в таком экстазе аплодировали? неужели по сравнению с русскими немцы – настолько лояльные и толерантные театралы? чем прониклись, что смогли разобрать?

– Ай, какие интересные времена наступили... какой простор для интерпретаций... – ухмыльнулся Эдик и, воздев бутылку над головой, торжественно провозгласил: – Театр умер – да здравствует театр!

Все стихли, повисла неловкая пауза. Илья ни на кого не смотрел, по-прежнему обиженно держа палец во рту. Сунув Уле стаканчик в руку и поддерживая под локоть, Леня заставил ее выпить водку до дна, после чего весьма убедительно кивнул, будто подобный подход к решению эмоциональных проблем действительно пропагандировали на факультете психологии, – и выпил сам.

– Поднадоело мне тут солировать, – заявил с кислой миной Эдик. – Не знаю, как вы, а я пошел искать кельтский колодец! Хочу с бездной в гляделки поиграть, как завещал великий Ницше...

Уля пришла в себя уже погода, когда низко над ее головой, тревожно шумя крылами, пронеслась стая тяжелых призраков, – тогда она с дремотным недоумением обнаружила себя бредущей по черно-белой, нотариально заверенной копии старого города в направлении горы за рекой. Компания, окружавшая ее, состояла в основном из недавних зрителей, а впереди, какой-то насмешкой над ее маленьким горем, до которого никому не было дела, шагал, шатаясь, с поднятым воротом Эдик, что означало, что она бедным лунатиком, не переодевшись, прямо в свадебном платье ведьмы, оставив прочих позади в театре, увязалась за ним в поход за секретами Вальпургиевой ночи.

С какой целью она так поступила, Уля пока еще не сознавала.

Спутники наперебой рассказывали ей по-немецки, какая она талантливая и мужественная актриса, и любопытствовали, откуда она и по какой линии. Девушка отмалчивалась, вежливо улыбаясь в ответ лишь уголками рта, и кивала на двух языках – было зябко, пелена густых туч скрывала звезды, зато в чужих окнах мелькнули-подмигнули рубиновые и янтарные огни, а компания увлекала всё дальше, вглубь бархатной тьмы, навстречу неведомому, сквозь башенные ворота, мимо возвышающейся тени курфюрста, и под каменным мостом смутно покачивались масляные блики волн Неккара. Волей-неволей Уля неотрывно глядела на спину Эдика и втайне надеялась, что он обернется, что-то скажет, хоть что-то объяснит или извинится. Но оборачиваться он не желал, равнодушно ни с кем не общался, продолжая прикладываться к бутылке, и изредка горланил: «Ма-мма – анархия! Па-ппа – стакан портвейна!», чем развлекал местных, умолявших перевести текст. И невзирая на то, что напивался он один, ощущать расплывшийся по телу хмель она стала почему-то тоже, и каждый шорох, каждый отсвет по пути казались значимыми и таинственными – что ж, это была идеальная ночь, чтобы сойти с ума, и судьба уже приобрела для них индульгенцию.

По ту сторону моста Гейдельберг подозрительно быстро перетек в подножие Хайлигенберга, и дальше пришлось взбираться по крутому и довольно узкому серпантинному пути, ориентируясь впотьмах исключительно на доносившийся сверху рокот. Прохожие обгоняли их, с лаем вываливались из кустов, обнимались и хвастались, неумело брэнчали на гитарах, компания разрасталась, а когда они все вместе добрались до вершины, то гул перестал быть однородным, разом рассыпался на смех и крики, свист и барабанный бой, раскатистый треск факелов и костров. Сквозь учтиво расступившуюся чащу открылось невероятное зрелище, сравнимое разве что со стихийным рок-фестивалем: плешь на макушке горы заросла тысячами юношей и девушек, скрывших под собой остатки амфитеатра.

Эдик проворно нырнул в толпу, совсем рядом взмыли ввысь золотые ракеты, мимо пробежал кто-то, хохоча, вооруженный алыми сигнальными шашками, с громким шипением плюющимися снопами искр и оставляющими за собой зыбкий молочный

шлейф. Разумеется, происходящее имело мало общего с шабашем, ни магической атрибутики, ни ряженных (если не считать кошмарных масок, мелькнувших в веренице пьяных ухмылок, – хотя постой! то были лица?!). Календарная дата служила всего-навсего поводом: горьковатые запахи дыма и керосина смешивались здесь со сладковатым запахом конопли, и создавалось ощущение, что пламя перетекало от одного к другому, начав на столь почитаемые в этой стране правила безопасности, хитрым драконом проплывая во мгле и горячо дыша на каждого новоприбывшего. Но жар этот был иного толка, нежели не так давно на сцене: огни вокруг рождались и угасали, завораживая и не причиняя вреда, вызывая приступы веселья у собравшихся, став квинтэссенцией торжества свободы и молодости, сопричастности к чему-то вне экзаменов и графика работы, вне рационального и потому скучного, – а от игры света и тени строй деревьев по краю огромной площадки тихо пританцовывал, словно в очереди перед туалетом.

Очарованная, Уля смотрела широко распахнутыми глазами, в которых отражались отблески гуляний; всё ей было ново и радостно – и люди, и их яркие одежды, их загадочные песни и ритуалы. Под звон пивных бутылок и хруст пластиковых стаканчиков девицы в длинных цыганских юбках раскачивались и гостеприимно протягивали руки в браслетах-амулетах навстречу языкам пламени; их снимали на смартфоны и, не успев пережить увиденное, проверяли качество запечатленного; влюбленные лихорадочно, с остервенением, целовались, превратившись в единое целое с множеством щупалец; темнокожие бородачи, полуприкрыв веки и обняв барабаны худыми ногами, погружались в свои гипнотические ритмы, разгоняя их по толпе волнами, отдававшими дребезжанием в груди; полуголые факиры-любители, подбадриваемые возгласами, зверски разевали рты, поглощали и сразу же изрыгали обратно порции огня, а ребенок на плечах отца был уверен, что помогает им, бешено дирижируя. И всё же кто-то, сладко поеживаясь, кутался в плед, кто-то мирно дремал с сигаретой, присохшей к нижней губе, и веером игральных карт между пальцев, кто-то запускал в небо тусклые светлячки китайских фонариков, а кто-то жонглировал четырьмя апельсинами, небрежно признаваясь, что научился этому буквально на днях, и делился планами перейти на маленькие, незрелые дыньки – словом, умиротворение охватывало каждого на свой лад. Так что Уля тоже расслабилась, почувствовала себя легко и уютно среди всех этих безмятежно болтающих, поющих, жующих людей – и до поры забыла, почему очутилась здесь. Жажда впечатлений толкала ее дальше, она пробиралась сквозь сорище вглубь, под пульсирующий инди-дрим-поп-регги-транс, от островка к островку, возможно, кругами или более затейливыми маршрутами, юркая между сходящимися фигурами, спускаясь и поднимаясь по вздымающимся снизу каменным ступеням. Вместе с остальными поддавалась соблазну и, подобрав подол платья, под гиканье-улюлюканье прыгнула через костер, при этом чуть не врезавшись в плясавших; озорники встрепали ей волосы, предложили присоединиться к медитации и, приняв за кого-то другого, вложили ей в руку не то конфетки, не то таблетки, которые Уля без злого умысла тотчас рассыпала; позже ей пару раз отдавили ноги, но это представлялось сущим пустяком, как и тот факт, что девушка давным-давно потеряла своих случайных попутчиков из виду, – неважно, неважно, потом, а сейчас Уля, подпрыгивая, заглядывала через плечи, всерьез размышляла о том, что нечто подобное необходимо организовать в Бохуме, и могла часами вслушиваться в обрывки интернациональной абракадабры:

– Ne, schon immer schön hier, nette Leute und so, aber na ja, im letzten Jahr war's schon irgendwie anders, keine Ahnung...

– Come on, you little coward!

– Alter, kannst du bitte aufpassen?! Mein Akku ist doch alle!

– Dimmi che mi ami?

Бей! бей! бей, барабан! – и вот уже стали пилить ветки и нести новый хворост для прожорливых костров, вот как бы иронически выпили за здоровье фашистов, создавших такой «комфортный тингплац для хэппенингов», вот суетливые бродяги, опасаясь конкуренции и не дождавшись утра, принялись собирать бутылки в мешки, болтавшиеся за их спинами и позвякивающие первой поживой, – всё под наблюдением стражей порядка, чья исчерно-синяя униформа маячила за кустами и в пестром мареве смотрелась особенно угрюмо.

– Come on, you can do it!

– Mon Dieu, je suis fatigué, je suis juste fatigué...

– Asa nisi masa...

Флаги, лица, освещенные бенгальскими свечами, – всё плыло и пело, клокотало и гудело – и гам лесной, и шум нагорный – и за брызгами горячего прямо перед глазами всполохнул огонь, рассыпав искры царапинами по воздуху, отчего Уля отшатнулась, задела кого-то локтем, испуганно отступила в сторону и прижалась спиной к дереву, которое миглом ожило и перевоплотилось в великана – тот подбоченился и погрозил пальцем. Сию же секунду из толпы выскользнула незнакомка, от чьей черноокой красоты захватило дух; она мимолетом провела пальцами по струнам чужой гитары и заметила Улю, вслед за чем приблизилась к ней, с нежной, неизъяснимой значительностью лизнула в нос и, взяв за руку, повела за собой. Несмотря ни на что, Уля ничуть не смутилась, просто подчинилась обстоятельствам, приняв их за составляющую праздника, и, пожалуй, отчасти огорчилась, когда изящная шалунья вскоре передернула плечами и, с воплем радости опознав своего приятеля, так же бездумно покинула подопечную – и где-то далеко, поддавшись настроению, самозабвенно завыл невидимый пес.

– Вот это я понимаю! В эту Вальхаллу еще бы караоке, вообще был бы рай...

На одно из полуразрушенных возвышений чуть поодаль гордо взгромоздился Эдик и теперь общался сам с собой, пугая окружающих своей испачканной краской рубашкой; за это время бутылка в его руке успела смениться на стаканчик с очередной дурманящей жидкостью. Увидев его, Уля растерялась и не знала, как поступить, что сказать, что поставить в вину: стоял он один-одинешенек, с размазанным по лицу гримом, балансируя и провоцируя вселенную – и та не заставила себя долго ждать.

– О! И ты здесь, Брут? – поприветствовал он двинувшуюся на него из тени фигуру.

– Ты Брут наоборот, зря не решился прикончить меня – это был незабываемый экспириенс...

Илья был тоже очень пьян, сам не свой – осунулся и, держа руки в карманах, сильно дрожал; так и покачивались они друг напротив друга, как хлопушки на новогодней ветке.

– А вот скажите, Илья Викторович! – Эдик с интересом сосредоточил на режиссере свой взор: – Тот факт, что сегодняшней беспредел даже лучше зашел, чем обычно, – это что было? Это говорит о качестве продукта или публики? Почему все эти чудики там, ни

хрена не врубаясь в текст, досидели до конца, будто ждали? Чего они ждали, а? Просветления? Открытия портала в ад?

То, что в ответ процедил сквозь зубы Илья, Уля, увы, разобрать не смогла, но поймала себя на мысли, что была бы счастлива, если это было бы связано именно с ней. Поэтому от последующих слов Эдика она слегка приуныла:

– А?! Что? Какие спальники, о чем ты? Нет, понятия не имею, где Руслан...

Когда Илья снова глухо заговорил, Уля, обуреваемая нехорошими предчувствиями, стала проталкиваться к ним сквозь толпу, чтобы подслушать разговор. Однако неизвестный нахал застал ее врасплох – гораздо выше ее, на пару десятков лет старше, с поросычей, выщербленный оспой мордой и цилиндром на затылке, он обнял девушку идохнул перегаром так, что голова пошла кругом. Уля не уловила, на каком языке незнакомец уговаривал потанцевать с ним, – бухтел свое, противное-похотливое, не обращая внимания на протесты и откровенно прижимаясь к ней, но после всего пережитого этот тип сейчас попросту раздражал, являясь мучительной помехой, – ведь ее друзья были совсем рядом, рукой оставалось дотянуться самую малость!

– Ты что, серьезно?! – разглагольствовал между тем Эдик заплетающимся языком. – Виноватых ищешь?! Да твой спектакль был ни рыба, ни мясо, там дальше вялых полунамеков дело не шло! А тут такое чудо из чудес – бабах! Свершилось! Думаю, мы там на сцене все твои тайные желания воплотили – скажешь нет? Знаешь, в Америке забава такая есть, «интервенция» называется – это когда друзья доходчиво, коллективным собранием, разъясняют тебе твою проблему, которую ты, видимо, сам распознать не в состоянии...

Незнакомец, ехидно подхихикивая, закружил Улю в танце, та стала изворачиваться, как могла, чтобы не потерять своих из виду, а Эдик пока раскинул руки и заревел во весь голос:

– Оглянись! Вот она твоя – интервенция! Вот она какая – жизнь! Настоящая, без фольги и красной, блин, краски! Здесь всё взывает к тебе: Илья, Илюша, дорогой, очнись, завязывай со спектаклями! Не твое это, вообще не твое... А мы, нищелюды и лохопеды, еще и участвуем в этой невнятной ванили... Переходи на порнуху, а? Может, в этом твой талант? Это что ж за сайты посещать надо, чтоб вирус такой словить?!

Он бы и дальше ораторствовал, но внезапно осекся, с беспокойством всмотрелся в лицо собеседника и, потянувшись к нему, с нескрываемой болью прикоснулся пальцами к щеке Ильи:

– Не надо, малыш, не надо на меня сердиться...

И тут несколько событий произошло одновременно. Во-первых, небо раскололось – взорвалось электрическим разрядом, озарившим амфитеатр за мгновение до собственного звука. Во-вторых, Уля истошно закричала, потому что, в-третьих, в руке Ильи что-то блеснуло – он сделал резкий выпад и ударил Эдика в живот.

Огни разом потухли, всё и вся оцепенело, словно был осуществлен чудовищный фотоснимок кем-то сверху на память; моментальный холодок пробежал по спинам собравшихся – и после непродолжительного раската грома, впопыхах оправдавшего грома предыдущую вспышку, на Хайлигенберг обрушился долгожданный ливень вперемешку с градом. От шквала заныла роща, всё вокруг пришло в стремительное движение – ой-ой-ой, закачалось, захлопало, зазвенело, а когда молнии зарядили чередой почти без остановки, молодежь бросилась с гомоном какого-то ликующего разочарования

врассыпную. Впоследствии Уля неоднократно пыталась убедить себя, что это невозможно, но тогда она именно что отшвырнула незнакомца, как котенка, прочь и, раздвигая обезумевших, побежала разъезжающимися ногами наверх, туда, где Эдик, оставшись один (Илья вмиг опрокинулся в ночь), игнорируя бушующую вокруг стихию, схватился за бок и с серым лицом стал медленно оседать.

Понеслись потоки людей, мутной воды и грязи; девушка преодолевала их, преодолевала себя, преодолевала метры как километры, наряду с этим ощущая, как поднимается в ней небывалая сила; когда же она, до нитки промокшая, добралась до Эдика, то обхватила его и прижала к себе, не дав упасть толпе под ноги, – его поникшая голова и руки тотчас легли на ее худенькие плечи. Уля быстро продрогла от тяжелой воды, льющейся всюду с неба, заливающей глаза, затекающей в уши и рот, но сдаваться не собиралась. Торопливо начала она бормотать слова, которые должны были помочь, и далеко не сразу догадалась, что с губ срывались вовсе не молитвы, заученные в детстве с мамой, и даже не заклинания бабушки, – то были слова пьесы, которые сегодня на сцене она так и не смогла произнести: «Пусть буря поднимется над крышами столицы! Пусть прольется молоко и лает собака, пусть прошлое и будущее поменяются местами – но слушайте! Слушайте только меня! И поделитесь со мной силой Луны, силой звезд, силой ночи...» Однако в голову ничего другого не приходило, так что Уля просто проговаривала текст дальше: «С медными щеками и железными зубами...» – а зубы у самой безудержно стучат! а внутри всё трясется и кувырается! Потухшие костры горько задымили, черное небо смешалось с черной землей, ушла, едва наметаясь, мысль, что отрывисто дышавшего юношу необходимо унести отсюда, надо звать на помощь... суматоха вокруг стала замедляться, отступать, гул в ушах становился всё тише, ноги подкашивались, веки слипались, и сквозь пелену резко навалившейся слабости, всем существом проникшись жалостью и страхом за постороннего, в сущности, человека, девушка чувствовала, как перестает трепетать тело в ее руках, как оно наливается тяжестью и тянет ее вниз, сквозь камни, глину, солому, черепки, песок, – слой за слоем почва расступалась под ними и, поглотив, вновь смыкалась, точно в желании скрыть этих двоих, как улики, на веки вечные. Уля захлебывалась, путаясь в корнях деревьев, проваливалась всё глубже, куда-то навстречу трем китам, и неуклонно шептала: «Нет смерти, нет любви, заберите жуть мою и бросьте в океан...», а ожившая, враждебная тьма-тьмушая заполонила весь мир, гудела-стонала, упоенно вертела ими и тянула в разные стороны, надеясь разлучить, – да не тут-то было: Эдика ни в коем случае нельзя было отпускать, и потому девушка вцепилась в него так, что ее ногти буквально вросли в него.

Тогда из сумятицы чувств и событий, из сумрачных глубин небытия, стали рождаться мерцающие, поначалу едва различимые огоньки; вихрем закружились они перед девушкой, вытесняя друг друга, сталкиваясь – и рассыпаясь со звоном печальным и мелодичным, причудливыми формами вспышек напоминая то ли знаки Зодиака, то ли древнеегипетские иероглифы, значение которых, невзирая на филологическое образование, оставалось Уле неясной. Но прошло совсем немного времени – и всполохи обрели вполне узнаваемые очертания: из темной пучины начали проступать призрачные, пылающие, но такие родные лица! Сперва возникла мама, почти осязаемая, она с придыханием говорила о театре, о том, что это особый мир, такой тонкий, воздушный, далекий от реальности, а люди, причастные к сцене, отмечены печатью света и вдохновения, – и Улю сразу же охватила волна счастья, когда на смену маме пришла

бабушка, та смешно курлыкала – курлы-курлы – вроде простуженного голубя, пока собирала по лесу заветные коренья и травы. Запомни, Улиточка, говорила бабушка, всё так или иначе будет, как должно быть, как задумано, но иногда мирозданию нужно маленьчко помочь, – и новый вихрь видений понес девушку через воспоминания минувших лет, через все влюбленности и разочарования, мальчишки, девочки, мокрые волосы, мокрые шеи, глупые записочки, дерзкие намеки, неприятные прикосновения. И вот Уля снова маленькая, затравленная, она больше не может вынести, как ее отец в очередной раз доводит маму до слез, и бросается вперед, потому что никого и ничего не боится, и кричит: убирайся! ууу-бирааай-ся! Она впервые в жизни кричала так пронзительно, надрывно, выворачиваясь наизнанку, и никогда не забудет отца, как странно он на нее смотрел, а на утро его уже не было с ними, ни его, ни его вещей, книг, бутылок и картин, и после этого она поверила, что может, при желании может всё изменить, всех спасти, и потому сейчас, стиснув зубы, повторяла текст по кругу, сквозь чуждые слова приказывая тьме убираться восвояси! Убирааайся! – и образы любимых и нелюбимых обиженно засветились, занялись изнутри гранатовым свечением, затрещали по швам – и, вспыхнув на прощание, обратились в мгновенно растаявшую пыль. Опомнившись и испугавшись содеянного, ночь перестала вращаться и греметь...

Воцарилось безмолвие.

Уже в предрассветных сумерках, разбуженные настойчивым звоном колокола и первыми, пока еще розовыми лучами нового дня, парень и девушка одновременно зашевелились в самом сердце опустевшего амфитеатра, под слоем грязи, веток, конфетти и рваного целлофана. Эдик с опухшим лицом, приподнявшись и ничего не соображая, стал озираться – и содрогнулся оттого, что под боком кто-то чихнул. Словно не узнавая, он ошарашенно уставился на девушку:

– Ульяна?!

Время вновь начало свой ход. Под злорадный вороний ор, чумазые, оглушенные, измочаленные, они битый час спускались с горы, возвращались в стылый, безлюдный город, поминутно спотыкаясь и жмурясь воспаленными глазами на солнце. Один в один повторяли композицию – Уля покорно, в отдалении, следом за Эдиком – по тому же маршруту, что и вчера, в апреле, только сегодня, уже в мае, умытый Гейдельберг нестерпимо блестел; уличные фонари при виде чудной двойцы поспешно гасли; таял повисший на деревьях туман; мокрая обувь всхлипывала при каждом шаге, предвещая своим хозяевам скорую хворь. Воздух был чист и прозрачен, впереди лежала долгая дорога в театр, долгая дорога домой, долгая жизнь, вроде бы через три перекрестка направо, потом налево – тут из бакалейной лавки, аккуратно ступая отекающими ногами, возник старичок, он намеревался открыть наружные ставни, чтобы проветрить помещение, но уставился на парочку, застыл, а затем, просияв улыбкой, дружелюбно помахал морщинистой рукой:

– Лучший костюм ведьмы за все годы!

После чего невозмутимо вернулся в лавку. Уля глянула в сторону и зыбко размножилась в скоплении зеркальных витрин: ее платье было безнадежно испачкано глиной и местами порвано, всё в колючках, а с одного боку измазано красным – краской? кровью? Эдик тоже остановился и обернулся, будто за весь путь только теперь вспомнил о ее существовании:

– Ну, что ты как дохлая гусеница?!

Она моргала и потирала ушибы, не сомневаясь, что тело ее покрыто синяками. Бывший царь подошел к ней и, насупившись, покачал головой:

– А колодец-то так и не нашли... как-то дико это всё...

Он машинально извлек из ее спутанных волос соломинку, которую, в тот же миг смяв, откинул, и в раздражении повысил голос:

– Слушай! Ну, перестань! Перестань киснуть! Так бывает, это всего лишь спектакль! Какой-то бредовый, случайный, любительский спектакль... на русском... в Германии... Это как в том КВНе Севы с Маратом: «Для кого?! Для чего?!» Но да, да, я знаю, нам же, как актерам, с нашим акцентом, с нашими рожами, здесь вообще ничего не светит – кроме утренников по общинам да ролей злодеев и проституток в тупых сериалах! Что нам еще остается, а?! На что надеяться?! Ну, а Илья... ты понимаешь, Илья, он, конечно... Мы же не будем никому ничего рассказывать, правда? Ты же взрослая девочка, мне не нужно ничего тебе объяснять?

Уля, выжидая, взирала на Эдика снизу вверх, пристально и с некоей тревогой, отчего он стушевался и нервно сглотнул. Его лицо приобрело странное выражение, взгляд забегал, точно молодому человеку стало муторно от того, что он рассмотрел в ее обычно серых, но сегодня почему-то зеленых глазах.

– Да пойми ты! – в отчаянии вырвалось у него. – Это последний наш спектакль был, последний! Не будет больше никакого театра! Помнишь эту Марину, она еще Илье на премьерке букет такой пошлый подарила? Ну, я сам дурак, сразу надо было догадаться – беременна она от него, понимаешь? Ему теперь надо настоящую работу искать, деньги зарабатывать – и всё такое... Пора взрослеть! А то, что у меня с Ильей... у нас... вообще всё, что случилось... оно как бы... значения, наверно, не имеет... Как бы то ни было, всё должно остаться между нами... как-то так... Понимаешь?

Вроде сам себе не веря, сбивчиво, как в бреду, говорил он, желая выговориться, и Уля сосредоточенно кивала, чувствуя, что ему это важно. Однако, несмотря на то, что в этот раз Эдик изъяснялся просто, без свойственных ему колкостей и цитат, она всё равно никак не могла вникнуть в смысл его слов. Шла ли речь о том, что случилось на сцене? Или ночью на вершине горы? Да и случилось ли там что-то... Разве что привиделось? Или девушке чудом удалось-таки переписать прошлое? Так что ничего такого ужасного не произошло и никогда не происходило? Ведь, судя по всему, он действительно ничего не помнил, поэтому и прощения не просил, и не благодарил, и впрямь считал, что они с Улей, что у них...

– Так, давай я тебя лучше завтраком угощу, – решительно перебил Эдик ее размышления. – В этой дыре наверняка есть какой-нибудь Макдоналдс, а за кофе я бы сейчас убил.

Он хмуро огляделся окрест – и остолбенел, издав такой гортанный звук, что Уля забеспокоилась о его здоровье. Несколькими невероятными скачками достиг Эдик стены, сплошь заклеенной разномастными плакатами, без колебаний сорвал один из них и ринулся стремглав прочь, прижимая добычу к сердцу и только и бросив через плечо: «За мной!» Девушка вздохнула и побежала за ним, надеясь догнать, но Эдик несся без остановки, прямо по лужам, иногда подпрыгивая от переполнявшей его эйфории и оглашая сонные улицы задорными воплями:

– Вперед, за родину! За Брехта! За Ктулху!

Когда, запыхавшись, миновав все необходимые перекрестки, повороты, местные красоты и, наконец, университетский двор, Уля добралась до распахнутых дверей театра, ее спутник успел скрыться внутри, а в сумрачном предбаннике она первым делом увидела Леню – тот как раз съел яблоко и крутился с огрызком в руке, выискивая мусорное ведро.

– Уля! – воскликнул он при виде девушки. – Ты где была?! Где вы оба были? Что с тобой, у тебя всё хорошо? Мы уже собрались идти вас искать – вы ж мобильники здесь оставили, ушли, ничего не сказав, потом эта буря, а утром тебя твоя мама вызванивала, нас всех перебудила. Ну, там Жанна не выдержала и трубку взяла, сказала, что она – это ты, но, кажется, твоя мама ей не очень поверила... Я бы на твоём месте ей перезвонил...

Уля расплылась в улыбке, она была рада видеть Леню и хотела ему рассказать, что всё хорошо, что она всё исправила и отныне всё будет так, как должно быть, – но тут:

– Осмыслите, маэстро, превратность судеб! – раздался голос Эдика из зрительного зала. – Где звук лопнувшей струны, когда он так нужен?..

Заинтригованные, Уля с Леной устремились в зал, где Жанна с Русланом лениво сворачивали на сцене свои спальники, а Эдик, тяжело дыша, стоял рядом с Ильей и в возбуждении размахивал перед его лицом мятым плакатом.

– Мдаа, – промямлил режиссер, отводя тусклый взгляд, – не знаю, наверно, я, когда перед отправкой адрес на нем менял, строчку эту нечаянно удалил, что, мол, спектакль на русском... Название латиницей, вся прочая инфа по-немецки, а с Санитой мы на эту тему не общались... недоразумение, мне не до того было – честно говоря, я вообще слабо понимаю...

– Да-да-да! – нетерпеливо перебил его Эдик. – А больше ничего в глаза не бросается?!

– Да не знаю я, – пожал плечами Илья, явно страдая от последствий горького похмелья, и с досадой взглянул на блеснувшие наручные часы. – Нам как бы... А почему он такой бледно-розовый? И пятнами пошел...

– Ага! Вот именно! Думаю, ошибка при печати. Или это из-за качества дешевой бумаги, хрен его знает, не суть. А сейчас, детишки, внимание – фокус!

Эдик отбежал в дальний угол и с нескрываемым наслаждением взмахнул, подобно тореадору, бумагой перед собой:

– Возрите же, собратья, ибо приблизилось разоблачение! С большой буквы Ррры...

Афиша действительно пошла пятнами, из-за чего многие буквы длинного латинского названия особенно издали совершенно не читались, растворились, непостижимым образом оставив лишь те, что в комбинации породили непристойный английский термин. И самое возмутительное: прежде устрашавшее пятно в центре объявления, результат работы знакомого дизайнера-новичка, в этом варианте печати больше не напоминало лепестки бушующего костра, а приняло совсем иные очертания, при виде которых Руслан хмыкнул. Уля озадаченно обернулась к нему и удивилась, почему побледневший Илья, опустившись на стул, вдруг стал заикаться:

– Так это, это что, вот это по всему городу расклеено, да?!

– А что, по-моему, интересный символ получился! – взялся рассуждать Ленья. – Пламя как смерть и, ну, вот, это как врата жизни, инь и янь, замкнутый, так сказать... – но, не сдержавшись, стал всхлипывать, притворился, что закашлялся, а потом, махнув рукой, разразился смехом на весь зал.

И вместе с ним стали смеяться все – до слез: Руслан похрюкивал, и татуировки на его покрасневшей шее пустились в пляс; Жанна хохотала во весь свой зычный голос, сверкая пирсингом в темном провале рта, а Эдик, опустив плакат на пол и закрыв ладонями лицо, сотрясаясь, без сил прислонился к стене и скоро начал икать. Барахтались, захлебывались в собственном полуистерическом смехе, куда вылились усталость, похмелье, переживания, связанные с прошедшей безумной ночью, с репетициями и выступлениями; всё накопившееся хлынуло в одну секунду наружу – и компания почувствовала искреннее облегчение и, более того, благодарность этому нелепому стечению обстоятельств. Хотя это, на самом деле, ничего толком не объясняло и не доказывало, но пускай всему виной будет ошибка печати, ну, или Вальпургиева ночь в совокупности с какими-нибудь магнитными бурями, ах-ха-ха, мы ведь так и подозревали, все местные – извращенцы, *davaј*, *spasibo*, на *zdogovje*, за чем пришли, то и получили, кино и немцы, а я ж еще одному руку пожал, фу-фу-фу, так нам и надо, так что разгадку искать больше ни к чему – и неудачные первые гастроли превратим в нудный анекдот для застолий или благополучно забудем! Последним сдался Илья, ухмыльнувшись: «Вы все конченные идиоты...», а Уля лучезарно улыбалась каждому из них – потому что это счастье, когда тебя окружают такие замечательные ребята, бестолковые и дурные, но такие милые и веселые, и даже Леня, особенно Леня, который, возможно, впервые так заливисто, от всей души, смеялся в ее присутствии (к тому же, при желании всегда можно найти созвучие в именах «Уля» и «Леня», не правда ли?).

Привлеченные смехом, как двое из ларца, на сцену с жадным любопытством выскочили Сева с Маратом:

– А вы тут что?..

– А нам? Мы тоже хотим!..

Ответа не последовало; тем не менее, парочка переглянулась в предвкушении:

– Что ж, воспользуемся тогда вашим настроением – мы тут...

– Офигенную сценку придумали!

– Да-да, ночью! Просто бомба! Зацените, короче...

Мало-помалу смех начал стихать – и в этот момент в зал осторожно заглянула Санита; за ее спиной мялась делегация руководства факультета, явившаяся с предложением показать столь феноменальный и социально значимый спектакль еще несколько раз – только уже на главной сцене – в конце мая и, скажем, в июне, а также в других университетах по стране. Впрочем, уловив, с каким напряженным, молчаливым вниманием труппа смотрела миниатюру под названием «Триумф бобра», Санита, не замеченная никем, поспешила вновь прикрыть дверь.

– Тише-тише! – по-немецки прошептала она сопровождающим и приложила палец к губам. – Они там что-то репетируют. Чувствую – новый шедевр.